

Изумруд — текст 2 из 2

Посвящаю памяти несравненного пегого рысака Холстомера.

Четырехлетний жеребец Изумруд — рослая беговая лошадь американского склада, серой, ровной, серебристо-стальной масти — проснулся, по обыкновению, около полуночи в своем деннике. Рядом с ним, слева и справа и напротив через коридор, лошади мерно и часто, все точно в один такт, жевали сено, вкусно хрустя зубами и изредка отфыркиваясь от пыли. В углу на ворохе соломы храпел дежурный конюх. Изумруд по чередованию дней и по особым звукам храпа знал, что это — Василий, молодой малый, которого лошади не любили за то, что он курил в конюшне вонючий табак, часто заходил в денники пьяный, толкал коленом в живот, замахивался кулаком над глазами, грубо дергал за недоуздок и всегда кричал на лошадей ненатуральным, сиплым, угрожающим басом.

Изумруд подошел к дверной решетке. Напротив него, дверь в дверь, стояла в своем деннике молодая вороная, еще не сложившаяся кобылка Щеголиха. Изумруд не видел в темноте ее тела, но каждый раз, когда она, отрываясь от сена, поворачивала назад голову, ее большой глаз светился на несколько секунд красивым фиолетовым огоньком. Расширив нежные ноздри, Изумруд долго потянул в себя воздух, услышал чуть заметный, но крепкий, волнующий запах ее кожи и коротко заржал. Быстро обернувшись назад, кобыла ответила тоненьким, дрожащим, ласковым и игривым ржанием.

Тотчас же рядом с собою направо Изумруд услышал ревнивое, сердитое дыхание. Тут помещался Онегин, старый, норовистый бурый жеребец, изредка еще бегавший на призы в городских одиночках. Обе лошади были разделены легкой дощатой переборкой и не могли видеть друг друга, но, приложившись храпом к правому краю решетки, Изумруд ясно учуял теплый запах пережеванного сена, шедший из часто дышащих ноздрей Онегина... Так жеребцы некоторое время обнюхивали друг друга в темноте, плотно приложив уши к голове, выгнув шеи и все больше и больше сердясь. И вдруг оба разом злобно взвизгнули, закричали и забили копытами.

— Бал-луй, черт! — сонно, с привычной угрозой, крикнул конюх.

Лошади отпрянули от решетки и насторожились. Они давно уже не терпели друг друга, но теперь, как три дня тому назад в ту же конюшню поставили грациозную вороную кобылу, — чего обыкновенно не делается и что

произошло лишь от недостатка мест при беговой спешке, — то у них не проходило дня без нескольких крупных ссор. И здесь, и на кругу, и на водопое они вызывали друг друга на драку. Но Изумруд чувствовал в душе некоторую боязнь перед этим длинным самоуверенным жеребцом, перед его острым запахом злой лошади, крутым верблюжьим кадыком, мрачными запавшими глазами и особенно перед его крепким, точно каменным костяком, закаленным годами, усиленным бегом и прежними драками.

Делая вид перед самым собою, что он вовсе не боится и что сейчас ничего не произошло, Изумруд повернулся, опустил голову в ясли и принялся ворошить сено мягкими, подвижными, упругими губами. Сначала он только прикусывал капризно отдельные травки, но скоро вкус жвачки во рту увлек его, и он по-настоящему вник в корм. И в то же время в его голове текли медленные равнодушные мысли, сцепляясь воспоминаниями образов, запахов и звуков и пропадая навеки в той черной бездне, которая была впереди и позади теперешнего мига.

«Сено», — думал он и вспомнил старшего конюха Назара, который с вечера задавал сено.

Назар — хороший старик; от него всегда так уютно пахнет черным хлебом и чуть-чуть вином; движения у него неторопливые и мягкие, овес и сено в его дни кажутся вкуснее, и приятно слушать, когда он, убирая лошадь, разговаривает с ней вполголоса с ласковой укоризной и все кряхтит. Но нет в нем чего-то главного, лошадиного, и во время прикидки чувствуется через вожжи, что его руки неуверенны и неточны.

В Ваське тоже этого нет, и хотя он кричит и дерется, но все лошади знают, что он трус, и не боятся его. И ездить он не умеет — дергает, суетится. Третий конюх, что с кривым глазом, лучше их обоих, но он не любит лошадей, жесток и нетерпелив, и руки у него не гибки, точно деревянные. А четвертый — Андрияшка, еще совсем мальчик; он играет с лошадьми, как жеребенок-сосунок, и украдкой целует в верхнюю губу и между ноздрями, — это не особенно приятно и смешно.

Вот тот, высокий, худой, сгорбленный, у которого бритое лицо и золотые очки, — о, это совсем другое дело. Он весь точно какая-то необыкновенная лошадь — мудрая, сильная и бесстрашная. Он никогда не сердится, никогда не ударит хлыстом, даже не погрозит, а между тем когда он сидит в американке, то как радостно, гордо и приятно-страшно повиноваться каждому намеку его сильных, умных, все понимающих пальцев. Только он один умеет доводить

Изумруда до того счастливого гармоничного состояния, когда все силы тела напрягаются в быстроте бега, и это так весело и так легко.

И тотчас же Изумруд увидел воображением короткую дорогу на ипподром и почти каждый дом и каждую тумбу на ней, увидел песок ипподрома, трибуну, бегущих лошадей, зелень травы и желтизну ленточки. Вспомнился вдруг караковый трехлесток, который на днях вывихнул ногу на проминке и захромал. И, думая о нем, Изумруд сам попробовал мысленно похромать немножко.

Один клоч сена, попавший Изумруду в рот, отличался особенным, необыкновенно нежным вкусом. Жеребец долго пережевывал его, и когда проглотил, то некоторое время еще слышал у себя во рту тонкий душистый запах каких-то увядших цветов и пахучей сухой травки. Смутное, совершенно неопределенное, далекое воспоминание скользнуло в уме лошади. Это было похоже на то, что бывает иногда у курящих людей, которым случайная затяжка папиросой на улице вдруг воскресит на неудержимое мгновение полутемный коридор с старинными обоями и одинокую свечу на буфете, или дальнюю ночную дорогу, мерный звон бубенчиков и томную дремоту, или синий лес невдалеке, снег, слепящий глаза, шум идущей облавы, страстное нетерпение, заставляющее дрожать колени, — и вот на миг пробегут по душе, ласково, печально и неясно тронув ее, тогдашние, забытые, волнующие и теперь неуловимые чувства.

Между тем черное оконце над яслями, до сих пор невидимое, стало сереть и слабо выделяться в темноте. Лошади жевали ленивее и одна за другою вздыхали тяжело и мягко. На дворе закричал петух знакомым криком, звонким, бодрым и резким, как труба. И еще долго и далеко кругом разливалось в разных местах, не прекращаясь, очередное пение других петухов.

Опустив голову в кормушку, Изумруд все старался удержать во рту и вновь вызвать и усилить странный вкус, будивший в нем этот тонкий, почти физический отзвук непонятного воспоминания. Но оживить его не удавалось, и, незаметно для себя, Изумруд задремал.